

ПОТРЕБНОСТЬ В НАЦИОНАЛИЗМЕ, ИЛИ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Л.Е. Бляхер

Природа “национального самосознания” и его соотношение с “политическим национализмом” относятся к числу тем, оказавшихся в последнее десятилетие в центре внимания российской политической науки. Из негативного, оценочного понятия концепт “национализм” постепенно превратился в важный элемент отечественного политического дискурса, а чуть позже — в объект исследовательских интересов многих политологов и политических философов [см., напр. Цымбурский 1993; Богатуров 1998; Межуев 1999; Дугин 1999]. При всем различии подходов и оснований ученые выделяют в российском национализме сходный смысловой комплекс, связанный с “безграничностью”, пространственной нелокализированностью России (А.Дугин), ее отделенностью от остального мира, “островным сознанием” (В.Цымбурский), противопоставленностью Востоку и Западу как неким трансцендентальным ограничителям (Б.Межуев). Все авторы, так или иначе пишущие о российском национализме, указывают на его мессианский пафос и способность абстрагироваться от этнического принципа [Цымбурский 1997].

Термин “национализм” весьма многозначен [см. Геллнер 1997] и потому требует уточнения. Не вступая в терминологические споры, обрисую лишь собственную позицию по этому вопросу. Под национализмом я понимаю принципы самоидентификации территориального сообщества, обусловленные образом жизни, разделяемой системой ценностей и позиционированием относительно лиц и общностей, не входящих в данное сообщество. При этом, в отличие от так наз. “национальной идентичности”, национализм сопряжен с мобилизацией путем противопоставления “врагу” и осознания исходящей от него угрозы. Именно в момент осознания угрозы (безотносительно к ее реальности) принятые в сообществе нормы и ценности, зачастую присутствующие на “фоновом уровне”, эксплицируются, становятся предметом обсуждения в рамках самых разных дискурсов, в т.ч. политического. Другими словами, национализм есть реакция на незавершенный и/или подвергшийся деструкции процесс национальной самоидентификации, своеобразный “механизм” ее восстановления и завершения. Неудивительно, что отчетливее всего он проявляется там, где идентичность испытывает наибольшее давление, — будь то особая сфера социальной жизни или территория.

В работах, затрагивающих проблемы российского национализма, отечественный национальный комплекс нередко рассматривается как нечто “единое и неделимое” [Блинов 2003]. Такая трактовка, на мой взгляд, не вполне оправданна. На территории России сегодня существует множество локальных версий национальной идеи, связанной, согласно К.Шмитту, с идентификацией через противопоставление “другому”, “чужому” [см. Шмитт 1992]. Более того, подобные “локальные национализмы” возникают даже в регионах, не обладающих сколько-нибудь выраженной этнической спецификой.

Настоящая статья посвящена анализу локального национального комплекса на одной из окраин бывшей империи — российском Дальнем Востоке. Хотя этот национальный комплекс еще находится в стадии становления, он уже сейчас в значительной мере предопределяет политические пристрастия населения региона и ориентации его лидеров. Изучая такой незавершенный, фор-

БЛЯХЕР Леонид Ефимович, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философии и социологии Хабаровского государственного университета, зав. лабораторией ХНЦ ДВО РАН.

мирующийся национализм, мы можем более точно уяснить сущность данного явления, понять механизмы его зарождения и развития.

Эмпирической базой исследования выступают биографические интервью, собранные автором в 2000 — 2002 гг. в городе Хабаровске*, а также данные формализованного опроса**, проведенного Центром социально-политических исследований (ДВР-центр) Хабаровского госуниверситета в 2002 г. И в том, и в другом случае сбор материала осуществлялся при поддержке ИНО-центра (в рамках программы МИОН) и Фонда Форда.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПОТРЕБНОСТЬ В НАЦИОНАЛИЗМЕ

По Хабаровску ехал автобус. Он шел по трем холмам-улицам, спускавшимся к огромной реке, мимо рынка, где русские и китайские продавцы торговали китайским ширпотребом, выдаваемым за изделия мировых фирм. Мимо ярких, “под Запад”, витрин магазинов, где те же китайские товары в чуть лучших упаковках объявлялись уже “эсклюзивной продукцией”. Мимо огромной, “чтобы китайцам видна была”, церкви.

На грязном боку автобуса чья-то уверенная рука начертала: “УБИТЬ КИТАЙЦА!”. В автобусе ехали китайцы, которых предлагалось убить. По улицам шли китайцы, которых предлагалось убить. Даже на Храмовой площади работали китайцы. Похоже, надпись их не особенно волновала.

Наверное, все дело в том, что нелюбовь к китайцам проявляется в городе не только в надписи на автобусе, но в каждой мелочи. Эта нелюбовь стала настолько привычной, что не вызывает особого интереса ни у граждан России, ни у граждан Поднебесной. Она просто есть. Почти естественными стали рейды спецподразделений МВД “по проверке паспортного режима” в общежитиях, где проживают китайцы, вымогательства на рынке, антикитайские нормативные акты и выступления в СМИ [Бляхер 2001].

Вместе с тем ни одна из дальневосточных территорий не мыслит своей жизни без южного соседа. Большинство россиян-дальневосточников носят китайскую одежду, пользуются китайскими лекарствами, смотрят антикитайские выступления местных лидеров по китайским телевизорам. Но речь идет не только о китайском ширпотребе, заполонившем весь мир. Русский Дальний Восток и Северный Китай связаны множеством нитей, каждая из которых важна и для Китая, и для России. Во многих дальневосточных городах открыты клиники “традиционной китайской медицины”. Поездка в китайский Далянь считается лучшим способом провести отпуск. Если житель Хабаровска или Владивостока хочет вкусно и недорого поесть, он отправляется в китайский ресторан [Лешкова 2003].

Да и для китайцев из северных провинций Амурская область, Приморье, Хабаровский край стали “родными”. Огромное количество фирм и фирмочек работают на русский рынок. Дальневосточный экспорт леса давно уже превратился в китайский. Если, пересекая границу Хабаровского края и Еврейской автономной области, вы наткнетесь на возделанные участки земли, не сомневайтесь — их возделали китайские арендаторы. В то же время в самом Китае охотно нанимают специалистов из России. Немало зданий в Харбине, Даляне, Муданьцзэне и других северных городах построены по проектам российских архитекторов.

Подобные связи насчитывают уже не одно столетие. Дальневосточные историки и краеведы с умилением описывают взаимоотношения между русскими переселенцами и китайцами до революции 1917 г. Вспоминают меценатство и благотворительность купца Тифонтая, уникальную честность китайских роз-

* В ходе интервьюирования опрашивались местные предприниматели, связанные с приграничной или международной торговлей (12 чел.), представители региональной власти (4 чел.) и силовых ведомств (3 чел.), а также туристы, регулярно совершающие поездки в сопредельные страны (8 чел.).

** Общий объем выборки — 1075 респондентов, генеральная совокупность — население г. Хабаровска.

ничных торговцев — ходей [История 1983]. Откуда же тогда такая неприязнь? Может быть, это наследие 1970-х годов, когда Китай рассматривался как “вероятный противник”, а приграничные конфликты превратились чуть ли не в обыденное явление? Возможно. Но только ли в этом причина? Ведь в советские годы отношения с Японией тоже складывались не лучшим образом, а сегодня неприязни как ни бывало. По частоте негативных упоминаний в региональных СМИ Китай “опережает” Японию (включая проблему “северных территорий”) более чем в семь раз. И дело здесь, безусловно, не просто в разнице восприятия богатого и бедного соседа. Бедным и слабым современный Китай назвать трудно. Здесь присутствует нечто другое, мало связанное с самим Китаем и его гражданами. Скорее, это “нечто” коренится в особенностях психологии жителей дальневосточной окраины. Имя ему — *потребность в национализме*.

Эта потребность появилась не сегодня и даже не вчера. Она формировалась долгие годы, а быть может — века. Но обострилась сейчас, на рубеже столетий.

Модельная ситуация, на мой взгляд, сложилась в городе Хабаровске — политическом центре Дальнего Востока. К его истории и стоит сейчас обратиться. Конечно, представленная ниже “история Хабаровска” отнюдь не полна, но такой цели здесь и не ставилось. Важнее другое — увидеть, где, как, почему возникает потребность в национализме.

“ПРОТОЧНАЯ” КУЛЬТУРА

В 1858 г. на берегу Амура был основан военный пост Хабаровка. Он состоял из четырех отдельно стоявших фортов и был призван защищать восточные рубежи империи от возможной агрессии со стороны ближайших соседей. Под прикрытием этого поста Россия начала вновь заселять оставленное по условиям Нерчинского мирного договора Приамурье [История 1983].

В 1880 г. форты с прилегающими к ним слободками получают статус города, который вскоре становится центром генерал-губернаторства. Создается первый генеральный план застройки города, переименованного в 1893 г. в Хабаровск. Разработанная в этом плане структура до сих пор сохраняется в исторической части “дальневосточной столицы” [Крадин 2001].

После регресса 1910 — 1920-х годов, охватившего весь регион, начинается взрывообразный рост Хабаровска. В основе этого роста лежали не столько “естественные” причины, сколько централизованные потоки переселенцев. Такая ситуация в принципе характерна для российского Дальнего Востока, периоды расцвета и упадка которого всегда были связаны с мощностью организованных переселенческих потоков. При этом специфика местности почти не принималась во внимание. Комплексная программа развития региона, учитывавшая уникальность его природно-климатических и географо-политических условий, была предложена лишь в отклоненном властями проекте первого генерал-губернатора Приамурья (Дальнего Востока) Н.Н.Муравьева-Амурского.

Российское правительство традиционно видело в дальневосточных территориях источник вполне конкретных ресурсов. Только это направление получало государственную поддержку и развивалось. В XVII в. таким ресурсом была пушнина. Резкое сокращение популяции пушного зверя в XVIII в. привело к утрате интереса к региону и его деградации (исчезло свыше половины городов). В начале XIX в. смысл дальневосточных земель сводился к добыче серебра. Однако обусловленный “серебряной лихорадкой” взлет продолжался недолго и с обнаружением более богатых и легкодоступных месторождений серебра на Алтае сменился упадком. Новое “оживление”, вызванное уже “золотой лихорадкой”, пришлось на 1830-е годы. Но в “фазу устойчивого роста” регион вступил лишь в 1930 — 1940-е годы, когда стране понадобился мощный военно-промышленный “кулак” против Японии, а с 1960-х годов — и против Китая [Бляхер 1999].

К концу 1980-х годов население Хабаровска увеличилось, по сравнению с 1920 годами, более чем в семь раз. Однако все это время, наряду с организованным “притоком” населения, наблюдался и его “отток” на запад, в европейскую часть бывшего СССР. Мало того, лишь незначительная часть пере-

селенцев ехала на Дальний Восток, чтобы остаться там навсегда, — из 1075 опрошенных хабаровчан таковых оказалось лишь 17. Большинство (57%) попало туда “по распоряжению начальства” (распределение, приказ, перевод, комсомольская путевка), другие собирались сделать карьеру и вернуться (9%), некоторые хотели решить материальные (14%) или личные и семейные (15%) проблемы, какую-то часть (5%) составляли ссыльные и бывшие заключенные.

Несмотря на официальное прославление первопроходцев и первостроителей, каждая следующая волна переселенцев обладала в целом более высоким статусом, чем предыдущая. Причин здесь несколько. Во-первых, территория региона осмыслялась главным образом как *осваиваемая Россией*, т.е. не совсем Россия. Соответственно, прибывавшие “с запада”, из европейских областей страны, представляли более “чистыми”, более выраженными носителями той ментальности, которую предстояло укреплять и укоренять на данной территории. Во-вторых, новые переселенцы обычно были связаны с приоритетным направлением хозяйственного освоения региона (пушнина, серебро, золото, ВПК и т.д.). И поскольку, как уже говорилось, именно это направление получало максимальную государственную поддержку, то лица, включенные в него, оказывались в привилегированном положении. В-третьих, в силу постоянного “оттока” населения “коренных дальневосточников” было слишком мало (6-7%, по состоянию на 1985 г.), чтобы они могли диктовать приезжим нормы социальной жизни. Новые люди строили жизнь заново, каждый раз начиная с “чистого листа”. И, наконец, в-четвертых, очередной переселенческий поток часто совпадал со сменой “начальства”. Вплоть до конца 1980-х годов высшие посты в регионе занимали люди “из столицы”, приезжавшие со своей “командой”, своей политикой, своими представлениями о том, как должны жить подданные. Отработав положенный срок, столичное начальство уезжало. В этой ситуации новые переселенцы ассоциировались с новым руководством — не все, конечно, но значительная часть. В целом же, повторю, преобладала установка на временность проживания. Основная масса “дальневосточников” не столько заселяла регион, сколько “*протекала*” через его территорию.

Подобная установка делала излишними развитие социальной сферы и заботу о красоте городе. Подавляющее большинство предприятий и учреждений города имели не местную, а московскую “прописку”. Министерство-патрон заказывало проект будущего микрорайона, не согласуя его с городскими инстанциями. Эклектичность внешнего облика города, неразвитость социальной и досуговой сферы не воспринимались как нечто существенное. Ведь приезжали “работать”, а не “жить”. Все прежнее, связанное с “западом”, официально изгонялось. Не приветствовались даже названия улиц, ассоциирующиеся с прежним местом проживания их строителей [см. Говорухин 2003].

Вследствие описанных обстоятельств социальная структура Хабаровска и других дальневосточных городов гораздо больше соответствовала (во всяком случае — внешне) социально-профессиональной модели “советского общества”, чем это было в европейских “губерниях” СССР и России. В условиях непрерывной миграции населения “неофициальные” (неформальные) отношения не успевали оформиться в культурные традиции, способные существенно деформировать навязываемые сверху модели. При этом невозможность жить по “писаному праву” приводила к формированию особой социальной общности, ориентированной на постоянную изменчивость, — “*проточной*” культуры. Данная культура и становилась базой для “обживания” официальных норм. “Проточность” оказывалась не отсутствием традиций, а традицией, которая адаптировала к себе официальные нормы. Само общество было построено таким образом, чтобы нивелировать культурные различия между отдельными группами новых поселенцев, а также между ними и “местными” жителями, уже освоившимися на территории. Механизм, сводивший на нет противоречия в культурных устоях, скажем, выходца из украинской глубинки и москвича, был обнаружен быстро — официальная идеология. Статус “простого советского человека”, как ранее общая приверженность “православию, самодержавию,

народности”, позволяя предотвращать или, по крайней мере, сглаживать потенциальные конфликты. Вместе с тем официальные нормы “ороднялись”, “одомашнивались”. Их всегда было можно слегка “подкорректировать” на уровне личных контактов. Именно поэтому самые грозные указы, касающиеся “порядка” на Дальнем Востоке, никогда не работали* — и не работают.

Основой “проточной” культуры служили простейшие сетевые структуры, базирующиеся на системе витальных ценностей. Взаимоподдержка в рискованных ситуациях, обмен услугами, дарение выступали здесь не в качестве элементов традиционного общества (общины), но как важнейший компонент устойчивости при постоянной модернизации. Разветвленная социальная сеть становилась условием выживания дальневосточника, и потому каждый вновь прибывший немедленно включался в ту или иную из них. В сети почти всегда имелся “свой” представитель исполнительной власти и силовых ведомств, “свой” предприниматель, бандит, медик и т.д.**

Конечно, в советские годы сетевые структуры существовали на всей территории России. Но их дальневосточной версии была присуща определенная специфика. Так, в частности, они охватывали собой гораздо больше акторов, чем обычно. Как правило, состав социальной сети бывает жестко ограничен: поскольку вхождение в сеть предполагает участие в рискованных обстоятельствах *всех* ее членов, при увеличении числа таковых риски начинают превышать выгоды от сетевого взаимодействия. Согласно эмпирическим исследованиям, средний размер сети не превышает 9-12 участников. В Хабаровском же крае сети могли объединять до 30-35 человек. Более того, каждый из них входил сразу в несколько сетевых структур, предоставляя свой сетевой ресурс в пользование всем участникам взаимодействия. Складывалась некая сверхсеть, точнее, ряд сверхсетей. В условиях крайней неравномерности заселения Дальнего Востока, подавляющая часть жителей которого оказалась сосредоточена в нескольких крупных городах, эти сети, пересекаясь, покрывали все региональное пространство. Двигаясь по сетям, было гораздо легче “решить проблему”, компенсировать рискованные обстоятельства, нежели используя легальные каналы. Неофициальные и официальные каналы срастались, подвергаясь взаимной модификации, приспособляясь друг к другу. Приватное и публичное не разделялось, а перетекало одно в другое. Собственно официально-легальные институты принимали откровенно имитационную, симулякрную форму, выступая как способ презентации сети. В силу этого смена официальных приоритетов (имен) не влекла за собой фатальных последствий. Не столь важно, добываем ли мы серебро, строим Транссиб или наращиваем оборонно-промышленный потенциал страны. Не принципиально, кто стоит во главе территории — генерал-губернатор, секретарь крайкома КПСС, глава администрации или кто-то еще. Главное, что сеть сохраняет свою функциональность, защищая и страхуя собственных участников. Во времени менялись лишь презентации, сама же сетевая сущность оставалась неприкосновенной.

Не имел принципиального значения и персональный состав участников сети. Община была лишена личностной окраски, деперсонифицирована. Важными оказывались лишь функции агента в рамках сетевой структуры. Его личные ценностные пристрастия и нормы поведения откладывались “на потом”***. Такая имперсональность делала “проточную” общность устойчивой к смене состава жителей региона. Столь же безразличной была она и к тому, что каждый из этих жителей являлся носителем иных культурных традиций.

* Еще в XVII в. наместники жаловались, что, несмотря на все меры по пресечению грабежа коренных народов, купцы продолжают обирать стойбища туземцев. В начале XX столетия сходные обвинения звучали в адрес владельцев рудников и приисков, которые “пользуются попустительством горных инспекторов, ставя их на жалование” [История 1983].

** При форматизированном опросе на наличие таких акторов указали 87% хабаровчан, а в ходе неформализованного интервьюирования — 25 из 27 респондентов.

*** Об отложенных ценностях в сознании россиян-дальневосточников см. Бляхер 1997.

“Проточная” общность, по определению, не нуждается во “внешнем враге”, ибо не имеет никакого “внутри”. Она существует постольку, поскольку постоянно пополняется. В годы гражданской войны на Дальнем Востоке мирно соседствовали дума и совет рабочих депутатов, “советский” и “белогвардейский” союзы писателей. Различие форм презентации не нарушало целостности сети — ведь “большевик” и “белогвардеец” вполне могли входить в одну и ту же сеть. Редкие для региона случаи массового насилия возникали только тогда, когда в “проточную” общность вторгались организованные чужеродные массы — японская армия, революционные матросы из Питера и т.д. Они не “протекали”, а завоевывали, и потому не включались в “проточную” общность, но уничтожали ее.

В советские годы здесь, как и на любой окраине империи, спокойно пережидали очередные кампании по борьбе с чем-нибудь “страшным” (космополитизмом, буржуазным уклонизмом и прочими “измами”). Все волны политического насилия благополучно гасились “проточностью”. Но в 1990-е годы исчезла... сама “проточность”. То, что было несомненной данностью не одно столетие, рухнуло, и на его месте не сложилось ничего нового. Осталась огромная территория — и люди, лишенные каких-либо оснований для общения друг с другом.

НАЦИОНАЛИЗМ, ИЛИ ПОИСК НОВЫХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ

На рубеже 1980 — 1990-х годов централизованная система организации переселенческих потоков начала распадаться буквально на глазах*. Уже к 1992 г. число переселенцев из других регионов России перестало быть статистически значимым. “Отпали” комсомольские путевки и распределение, ослабили материальные стимулы. Как известно, важными, хотя и не рекламируемыми, механизмами рекрутирования добровольцев для переезда на дальневосточную окраину были легкость в получении жилья “на востоке” (при “бронировании” квартиры “на западе”) и “дальневосточные надбавки” (60% к номинальной заработной плате). Все это осталось в прошлом, вместе со знаменитыми “ста десятинами”, которыми привлекало на Дальний Восток крестьян царское правительство. С обрушением ВПК, который выступал главным “потребителем” высококвалифицированных переселенцев, строительство жилья замерло. Одновременно “обвалилась” и “социалка”, ведь детские сады, школы, дома отдыха, больницы тоже существовали за счет заводов ВПК. Начался отток населения. Однако на этот раз данный процесс развивался не так, как обычно. Уезжать собиралось большинство, но *смогли* уехать немногие. Взлет цен 1991 — 1992 гг. уничтожил многолетние сбережения. Гиперинфляция “добила” остатки. Разумеется, миграция с Дальнего Востока не прекратилась, но и не стала массовой. Если раньше в периоды упадка регион в кратчайшие сроки покидало до 60% населения, то сегодня отток не превышает 3-4% в год, при том что желание сменить место жительства испытывают порядка 85% “дальневосточников” [Ишаев 1998]. Ко всему прочему большая часть населения региона оказалась отрезана от “большой земли”, от России. До столицы собственного государства жителю Дальнего Востока сегодня добраться гораздо сложнее (и дороже), чем до столицы Японии или Китая. Впрочем, последнее также доступно далеко не всем. Многим приходится довольствоваться в лучшем случае поездкой в ближайший китайский городок за дешевой шубой или — еще чаще — в пригород на дачу.

В результате формируется сообщество, состоящее из людей, которые не могут, не желают, но должны жить вместе. Они приехали на время, но “застряли” навсегда. Они хотели “заработать”, но обеднели. Они *разные*, и чуть ли не единственное, что их связывает, — это язык и ощущение брошенности. До недавнего времени существующие между ними различия не были значимыми, гасились “проточностью”, откладывались “на потом”. Когда же выяснилось, что это “потом” может не наступить, “отложенные ценности” и культурные противоречия актуализировались. Не менее остро встали и проблемы, связан-

* Последний массовый приток населения в город пришелся на конец 1980-х годов и был связан со строительством завода электронного оборудования “Сплав”.

ные с неспособностью “проточной” культуры к внутренней инновации. Одна из функций подобной культуры заключается как раз в том, чтобы компенсировать чрезмерный внешний поток инноваций, и потому с его прекращением инновационная деятельность затухает. Для того чтобы породить инновацию, необходима внутренняя идентичность, а ее-то в “проточной” культуре и нет.

Наверное, нечто похожее представляла собой эмигрантская среда конца 1920-х годов. Далекие друг от друга, озлобленные люди. Правда, русскую эмиграцию тех лет объединяло общее прошлое. “Дальневосточники” лишены и этого. Прошлое у всех разное. Русские эмигранты знали, что они на чужбине. Им, чтобы выжить, нужно было найти свое место в чужом мире или... создать свой собственный мир. Немногие, оказавшиеся в особо благоприятных обстоятельствах или особо сильные духом, смогли пойти по второму пути. Чаше “маленькая родина” поглощалась “большой чужбиной”.

Жители Дальнего Востока не имеют возможности войти в “чужой мир”, отыскать там свое место. Оснований же для построения своего просто нет. Точнее, нет общих оснований. Отсюда — активный поиск того, что могло бы выступить в роли таковых. И вариантов здесь не очень много.

Первый вариант, который пытались реализовать еще в самом начале 1990-х годов, в эпоху “парада суверенитетов”, — *Дальневосточная республика*. То, что “Москва забирает все”, любой “дальневосточник” знает с раннего детства. Именно поэтому становится меньше рыбы в Амуре, поэтому нет денег на зарплату, поэтому вырубаются и горят леса и т.д., и т.п. Что в подобных жалобах отзвучает действительности, а что нет, — никого особенно не волнует. Это “медицинский факт”, как говорил Остап Бендер. Вот раньше... Раньше было совсем иначе. Все были сыты, обуты, одеты. Свобода была, опять же. Раньше — это при ДВР. Потом из Москвы понаехали комиссары, и все пошло насмарку... Соответственно, когда эра комиссаров окончилась, пришло время восстановить историческую справедливость — и Дальневосточную республику [Попов 1999]. Так или примерно так рассуждали демократические лидеры конца 1980-х — начала 1990-х годов. Но... страшно узок был круг этих революционеров. Да и от народа они оказались, паче чаяния, далеки. Причина тому достаточно очевидна. Людей, связывавших себя с территорией Дальнего Востока, было мало. Только каждый шестой мог насчитать более трех поколений предков-дальневосточников. Примерно половина населения региона родилась за его пределами. Европейская Россия (“запад”, по местному выражению) была “исторической Родиной”, с которой мечтали воссоединиться. В данном случае этот термин даже более уместен, нежели в случае с Израилем и мировым еврейством. Там — Великая книга и неясные надежды. Здесь — воспоминания детства, родственные и дружеские связи. Момент обиды “на Москву”, которая “бросила” в трудный час, был велик. Но это была, скорее, обида взрослых детей на мать, которая не желает далее о них заботиться. С ней хотят быть вместе, а не объявляют о суверенитете. Разговоры о ДВР были способом “напугать” мать, “забывшую” о своих обязанностях, и потому всерьез не воспринимались не только в центре, но и на дальневосточной окраине.

Не особенно эффективным оказался и традиционный для России механизм самоидентификации через антисемитизм. Евреи жили на Дальнем Востоке почти с самого начала его освоения. Идея “Новой Палестины” на этих землях родилась много раньше, чем сталинская “Еврейская автономная область” [Романова 2000]. Название “Циммермановка” звучит для местных жителей не более экзотично, чем “Вятское” или “Переясловка”. “Свои” евреи не вызвали никакой реакции. Они просто были, как были нанайцы, ульчи, выходцы из Белоруссии или Украины. В отличие от “запада”, где в первые годы советской власти представители этой группы ассоциировались с привилегированными профессиями (“водят к гаду еврея-профессора”), “на востоке” евреи терялись в общей массе. Среди них были колхозники и ремесленники, учителя и рабочие, уголовные авторитеты и рядовые бандиты, и т.д. Всплеск интереса к еврейской теме, возникший в начале 1990-х годов в связи с массовым отъ-

ездом евреев в Израиль, быстро сошел на нет. Евреев осталось слишком мало, чтобы их всерьез ненавидеть.

Однако главное, пожалуй, заключалось в другом. Антисемитизм входил в комплекс представлений “простого советского человека” (недаром “на западе” он часто выступает под красными знаменами), а эта идентификация как раз и была разрушена. Чтобы она возродилась, должны были вернуться государственный заказ, “московское снабжение”, бронирование квартир и многое другое. А без них — ну что за антисемитизм!

Еще более иллюзорной являлась возможность осознать себя как целое путем противопоставления Японии или Америке. Америка была чересчур далеко, и потому в культурном отношении она выполняла функцию не столько “всеобщего врага”, сколько “тридевятого царства” — некоего запредельного мира, попав в который можно получить всякие “волшебные предметы” (скатерть-самобранку, печь-микроволновку, ковер-самолет, автомобиль “Форд” и т.д.). Японцы же оказались для “образа врага” слишком хорошими политиками. “Воюя” с Россией за “северные территории”, Япония весьма активно “покупала” жителей дальневосточной окраины. Японцы первыми начали приглашать к себе делегации “дальневосточников”, причем отнюдь не только начальство. Они спонсировали всевозможные “народные гуляния” — от регулярного Экономического форума до фейерверка в День города в Хабаровске. Японские машины стали основным средством передвижения жителей региона. Не случайно во Владивостоке на одном из центральных домов аккуратно выведено: “Граждане японцы, осторожнее на своих машинах! Нам на них еще ездить и ездить!”. Существенную роль играло и то обстоятельство, что японцы оставались “дальними” другими. Их было сравнительно мало, и они подчеркивали свою чужеродность по отношению ко всему “местному”. Они привычно “протекали” через регион, не вызывая раздражения. Кроме того, значительная часть жителей региона (75% хабаровчан, по данным опроса ДВР-центра) видела в Японии недостижимый постиндустриальный идеал. Спор об островах Курильской гряды не особенно сказывался на восприятии японцев как таковых. Да, острова мы им не отдадим, но...

Оставались китайцы. И дело тут не в том, что в них были заинтересованы меньше, чем в японцах. Напротив. Именно челночные шоп-туры в Китай стали провозвестниками рынка. Но здесь совместился целый ряд факторов.

Первый из них — страх перед сильным соседом, который еще вчера был символом отсталости. Сегодня “знаки поменялись”. “Отсталым” предстает российский Дальний Восток. Пожалуй, наиболее показательны в этом отношении сравнение двух городов, разделенных Амуром, — Благовещенка и Хейхе. Благовещенск (центр Амурской области) застроен четырех-пятиэтажными домами “брежневской” эпохи. На набережной, практически лишенной фонарей, видны два-три долгостроя. На другом берегу за десятилетие возник город, как будто сошедший с рекламного проспекта: высотные здания, неоновые огни рекламы, чистые улицы, автомобили и велосипеды. Такое соседство невольно наводит на мысли о собственной неполноценности. А от этого один шаг до откровенного неприятия. И хотя китайское руководство сейчас не делает никаких “воинственных” заявлений, страх только усиливается. Возникают опасения “тайного заговора”. Различия в бытовых нормах перерастают во взаимное отторжение. Несовпадение этических норм порождает подозрения в “нечестности”:

“У них как Новый год, их, китайский, все уезжают в Китай. И тамошние китайцы едут, и наши — все, кто связан с лесом. У нас уже знают: после этого надо ждать падения цен. Это их китайская государственная политика. У них же все, так или иначе, связаны с государством. Оно их поддерживает. Думаете, кто их финансирует? Китайский народный банк. Наши только ушами хлопать успевают” (*экспортёр леса, образование высшее, 43 года*).

Особую обеспокоенность “дальневосточников” вызывает нестабильность, “не окончательность” границы. Характер приграничного размежевания нередко называют государственным преступлением. В ходе интервью респонденты даже указывали размеры взяток, которые получили государственные служащие за

проведение демаркации “на китайских условиях” (1 тыс. долл. США за метр). Относительная свобода перемещений в приграничной полосе воспринимается как прямая угроза целостности России и личной безопасности жителей региона: “Китайцы наглеют с каждым днем. Настоящего приграничного контроля нет. Границы настоящей нет. Как раньше было? Граница на замке. А сейчас... Полный бардак” (*работник таможи, образование высшее, 37 лет*).

Китайцы, в отличие от японцев или американцев, оказались “ближними друзьями”, теми, кто вторгается в “мое” пространство и осваивает его по каким-то своим, непонятным правилам. Они живут рядом, входят в те же социальные сети*, сидят в тех же ресторанах, ездят в тех же автобусах. И все-таки они другие. По-другому себя ведут, по-другому питаются, одеваются. Казалось бы, идет восстановление “проточной” общности. Да, потоки переселенцев с “запада” прекратились, и регион понемногу становится все более пустынным. Но на смену “западным” потокам пришли “восточные”. Они, как и раньше, несут с собой другую культуру и инновации. Более того, “пришлые” китайцы во многом воспроизводят модели поведения прежних переселенцев. Они вливаются в сложившиеся социальные сети, довольно редко образуя собственные. (Чайнатауны, столь характерные для всего мира, на Дальнем Востоке России не привились.) Они трудятся в наиболее значимых отраслях: строительство, лесное хозяйство, добывающий комплекс и т.д. Пожалуй, только тяжелая промышленность пока обходится без гастарбайтеров. Словом, “проточность” восстановлена и продолжается.

Наверное, так бы все и обернулось, будь дальневосточные земли “ничьими”. В подобных обстоятельствах китайское переселение вполне компенсировало бы отсутствие организованных потоков из европейской части России. Ситуация была бы вполне приемлемой и в том случае, если бы, обосновавшись в регионе, мигранты утрачивали связи с Китаем или эти связи уступали бы по силе местным. Однако события развиваются по иному сценарию: значительная часть дальневосточных сетей и их агентов втягивается в китайские сети. Нарастающий поток этнически однородных переселенцев с устойчивой этнокультурной идентификацией размывает, разрушает и “проточность”, и (что существенно) *русскость* Дальнего Востока. Но Дальний Восток мыслился и мыслится прежде всего как *русская* территория. При всей культурной разнородности переселенцев они были носителями *русской* культуры. В освоении региона для России и заключался сакральный смысл их пребывания на его землях, и пока этот сверхсмысл сохранялся, различия могли с легкостью нивелироваться структурой, описанной выше. Стоило же ему оказаться под угрозой, как возник “образ врага”.

На такой почве и начала складываться устойчивая идентификация: “мы” — это те, кто не любит и боится китайцев, те, кто лучше них, но, по непонятным причинам, беднее. “Мы” — хорошие, “они” — плохие. Этот мотив педалируют и власти: от строительства храмов, “чтобы китайцам видны были”, до воинственных заявлений местных лидеров. Идентификация в качестве антикитайца предстает весьма эффективной. Постепенно формируется образ, вобравший в себя и исходный образ региона-крепости, и образ первопроходцев, и многие другие. Российский Дальний Восток изображается как оплот европейской культуры в Азии, “передовая” столкновения цивилизаций. Такое восприятие проявляется и на уровне бытового поведения, и в политических заявлениях, и в предвыборных платформах.

Самое поразительное, хотя, быть может, и закономерное, что подобная ситуация не порождает конфликтов, во всяком случае — пока. Взаимная заинтересованность и взаимная неприязнь существуют как бы в разных пространствах. Возникают особые структуры, которые последнюю просто гасят. Есть они и в России, и в Китае.

В Китае открываются гостиницы с характерными названиями “Москва”, “Ленинград”, “Россия” и т.п., где организуется отдых “челноков” с учетом специфики их работы, горячее питание по минимальным ценам. Как прави-

* Согласно опросу ДВР-центра, у 40% респондентов имеются контрагенты-китайцы.

ло, эти гостиницы бывают тесно связаны с магазинами, работающими на русский рынок. Товары в таких магазинах по большей части кустарного производства, но с “западными” фирменными знаками. Обслуживание туристов из России — один из основных источников дохода местного населения. Создана сеть ресторанов, особенно значительная в провинции Хейлудзянь, где кухня, обслуживание, интерьер рассчитаны на русских клиентов. В них отражены, причем очень тонко, идеальные представления о Китае как о стране загадок, восточной сказке. Сама рецептура блюд ориентирована на европейские вкусы, но предполагает максимум “экзотических ингредиентов”:

“А какие там рестораны? Ты бы видел. Все чисто. Стены затянуты батиком с иероглифами, фонтанчики везде, официантки все ‘Наташи’. Только сигарету возьмешь, уже спичку подносят. Ну и кухня. Блюдо такое, что вчетвером не съешь” (*челночный торговец, образование высшее, 36 лет*).

Возникают особые виды деятельности, свойственные только приграничью. В ходе интервью хабаровские респонденты упоминали две новые “профессии”: “*помогая*” и “*кэмэла*”. “Помогаем” называют китайцев, выполняющих при русских “челноках” роль проводников, носильщиков, охранников и т.д. Обычно у каждого “челнока” имеется свой “помогай”. С “помогаем” часто бывает связана целая инфраструктура — мелкие производители ширпотреба, держатели гостиниц, ресторанов, которые платят ему за поставленных клиентов. Тем самым в сферу экономического взаимодействия с Россией втягивается значительная часть населения сопредельных территорий. Нечто близкое происходит и на российских землях, прежде всего в депрессивных районах (Амурская область, Еврейская АО), где китайская торговля — единственная возможность заработать.

Профессия “кэмэла” появилась во второй половине 1990-х годов вследствие дифференциации в среде “челноков”. Прежнее единство “челночного движения” распалось. Некоторые из бывших “челноков” стали владельцами сети розничных торговых точек, магазинов, переключились на иные виды деятельности. Другие же оказались не в состоянии собрать сумму, необходимую для поездки. Из их числа и рекрутируются “кэмэлы” — “челноки”, работающие “на хозяина”. “Кэмэлами” могут быть как китайцы, так и русские. Среди их “хозяев” преобладают мелкие предприниматели, владельцы трех-четырех торговых точек, которые довольствуются мелкооптовыми поставками (“мешками”), но хотят избежать себя от рисков, связанных с “челночными рейсами”. Представители среднего бизнеса, которых интересуют оптовые партии фабричных товаров, к услугам “кэмэлов” не прибегают: “Мы грузим вагонами. Нам мешками не обойтись”. Они вынуждены находить общий язык с таможней, выстраивать отношения с китайскими и российскими властями.

Досуговая и деловая инфраструктура северных провинций КНР во многом определяется их связями с приграничными территориями России. По другую сторону границы аналогичная инфраструктура хотя и существует, но развита заметно слабее. Это в немалой степени обусловлено сильными антикитайскими настроениями региональных властей, которых раздражают и китайцы в России, и русские в Китае. “Прозрачность” границы между Россией и Китаем кажется им криминальной по самой своей сути:

“Знаете, какое расхождение между ‘легальными’ китайцами и ‘нелегалами’? Порядки. Если официально, через туризм, через обучение, через приглашения хабаровских фирм их человек триста в городе, то реально их десятки тысяч. У нас уже нормой стало, что из каждой туристической группы человека три исчезает” (*офицер ФСБ, образование высшее, 42 года*).

Ответом на такую ситуацию являются периодические рейды силовых структур по “китайским общагам” и рынкам, ужесточение таможенного контроля. Но все эти меры тут же вызывают контрреакцию “пространства-посредника”. Возникают структуры, позволяющие преодолевать усложненные административные барьеры. Даже бытовая неприязнь к “китайцам здесь” нивелируется экономической заинтересованностью. Необходимость контактов с соседями диктует свои законы. В Амурской и Иркутской областях, Хабаровском крае и

Приморье, наряду с “китайскими ресторанами” для русских (адаптированный сервис и кухня), появляются китайские рестораны для китайцев. Многие общежития техникумов и вузов улучшают свое материальное положение, переоборудуя отдельные этажи под гостиницы для китайских торговцев, предоставляя им складские помещения. Функции “проводников” и “посредников” в России для граждан КНР выполняют, как правило, этнические китайцы, граждане РФ. “Гости” из Китая, помимо крупных бизнесменов, госчиновников и “челноков”, представлены еще одной группой — гастарбайтеров, которым при найме на работу нередко отдается предпочтение перед россиянами (например, при строительстве и ремонте квартир), ибо считается, что они более прилежны, не пьют, не предъявляют претензий к условиям труда*. При этом важно отметить, что смешанные русско-китайские бригады практически отсутствуют. Иными словами, создается особое *пространство взаимодействия*, не русское и не китайское, которое позволяет жителям приграничных территорий эффективно контактировать, осуществлять совместную деятельность, жить рядом, но не вместе.

Конечно, было бы хорошо, если бы удалось воспитать у соседей толерантное отношение друг к другу. Но понятно, что в ближайшие годы этого не произойдет. Значит, нужно просто учиться жить рядом. Ведь чем дольше люди живут бок о бок, тем меньше шансов, что они возьмутся за оружие. Когда ружье очень долго висит на стене, оно может совсем заржаветь и... не выстрелить.

Блинов А.С. 2003. Национальное государство в условиях глобализации: контуры построения политико-правовой модели формирующегося глобального порядка. — *Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы на глобализацию*. М.

Бляхер Л.Е. 1997. *Человек в зеркале социального хаоса*. Хабаровск.

Бляхер Л.Е. 1999. Пространственная сегрегация города Хабаровска (теоретико-методологические этюды). — *Пространство российских городов: попытка осмысления*. М.

Бляхер Л.Е. 2001. *Этническая община в социальном пространстве Дальнего Востока*. Хабаровск.

Богатуров А.Д. 1998. Россия и геополитический “плюрализм” Запада. — *Свободная мысль*, № 12-18.

Геллнер Э. 1997. От родства к этничности. — *Цивилизации*. Вып. 4. М.

Говорухин Г.Э. 2003. Захват социального пространства. — *Город X: провинциальные города Сибири и Дальнего Востока*. Хабаровск.

Дугин А. 1999. *Основы геополитики*. М.

История Дальнего Востока СССР: период феодализма и капитализма (XVII в. — февраль 1917 г.). 1983. Владивосток.

Ишаев В.И. 1998. *Особый район России*. Хабаровск.

Крадин Н.П. 2001. *Охраняется государством*. Хабаровск.

Лешкова О.В. 2003. Стратификационная функция туризма (на примере Хабаровского края). — *Вестник ХГАЭП*, № 2.

Межуев Б.В. 1999. Моделирование понятия “национальный интерес” (На примере дальневосточной политики России конца XIX — начала XX века). — *Полис*, № 1.

Попов В.Г. 1999. Дальроссы как этнокультурный тип. — *Россия на перепутье: контуры новой социальной системы*. Вып. 3. Хабаровск.

Романова В.В. 2000. *Евреи на Дальнем Востоке России (II половина — I четверть XX в.)*. Хабаровск.

Цымбурский В.Л. 1993. Остров Россия (Перспективы российской геополитики). — *Полис*, № 5.

Цымбурский В.Л. 1997. От великого острова Руси (К прасимволу российской цивилизации). — *Полис*, № 6.

Шмитт К. 1992. Понятие политического. — *Вопросы социологии*, № 1.

Статья подготовлена в рамках проекта “Культурные особенности экономического трансграничного взаимодействия: региональные аспекты (на примере Хабаровска и Санкт-Петербурга)” (грант КТК 486-1-01 программы МИОН ИНО-центра).

Теоретическая модель “проточной” культуры была предложена в ходе работы по гранту РФФИ.

* Об этом, в частности, говорили в своих интервью трое из опрошенных респондентов-предпринимателей.